

Д. В. Стрельцов

Сравнение послевоенной идентичности в СССР и Японии послевоенного периода проводить достаточно сложно, так как критериев идентичности может быть великое множество. В настоящем исследовании рассмотрены такие аспекты послевоенной идентичности Японии и Советского Союза в период с 1945 по 1991 г., как историческая память о Второй мировой войне, система политической власти, приоритеты социального развития, а также «новый» патриотизм, не связанный с военным прошлым и основанный на послевоенных достижениях, позволивших странам позиционировать себя в глобальном масштабе.

Ключевые слова: виктимность, «новый патриотизм», «нация-победитель», «хому советикус», японизм.

**Историческая память о Второй мировой войне:
виктимность «нации-изгоя» и «нации-победителя»**

Особенность того аспекта послевоенной идентичности Японии, который был завязан на осмысление итогов Второй мировой войны, заключалась в формировании на уровне массового сознания сложной этико-философской конструкции, в рамках которой негативное отношение в Японии к собственному милитаристскому прошлому сочеталось с психологическим комплексом виктимности, т. е. ощущением собственной жертвенности, создававшим чувство психологического комфорта. Ничего подобного не наблюдалось, например, в послевоенной Германии.

Существует несколько причин устойчивости комплекса виктимности, самовоспроизводившегося в нескольких послевоенных поколениях японцев. Он поддерживался как трудами консервативных ученых, так и усилиями официальных властей, которые периодически ставили вопрос о необходимости налаживания «патриотического воспитания» в стране. Среди существенной части японского общественного мнения сложилось представление о том, что видение истории, в котором Япония предстает в неприглядном свете, является продуктом политической пропаганды и не соответствует действительности. Согласно распространенному мнению, японская армия продвигалась в 1930-е годы в страны Азии, сражаясь за правое дело – освободить азиатские народы от белых колонизаторов.

¹ Настоящая статья подготовлена при финансовой поддержке РГНФ, проект 16-01-50085. «“Система 1955 года”: политическая власть в Японии в эпоху холодной войны».

Комплекс виictimности подпитывался аргументами о том, что японский народ в период Второй мировой войны сам понес огромные жертвы и испытал неопиcуемые страдания, а потому уже с лихвой окупил свои грехи. Из 74 млн населения Японской империи в ходе войны погибло около трех млн человек, в том числе около 800 тыс. мирных жителей. В ходе атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки погибло несколько сотен тысяч человек, а страдания *хибакуся* продолжались на протяжении многих послевоенных десятилетий. Практически все японцы хорошо знают и о ковровых бомбардировках Японии американцами весны-лета 1945 г. Например, в результате бомбежки Токио 10 марта 1945 г. от бомб и вызванного ими пламени погибло около 100 тыс. жителей.

Особый упор, кроме того, делался на те факты истории Второй мировой войны, которые подтверждали тезис о несправедливом отношении к Японии со стороны стран коалиции. Широкое распространение получила теория о том, что Токийский трибунал являл собой «суд победителей», а его решения были изначально необъективны. Осужденные и казненные по решению трибунала военные преступники класса А, в соответствии с данной теорией, уже «искупили грехи» нации, а потому их канонизация в храме Ясукуни не представляет ни юридической, ни этической проблемы.

Свою роль играли и относительно умеренные, по сравнению с Германией, масштабы послевоенных политических чисток. Борясь с коммунистической угрозой, американские власти фактически пошли на сделку с тогдашним японским политико-бюрократическим истеблишментом, отказавшись от массовых чисток государственного аппарата по германской модели, а после перехода к «обратному курсу» полностью или частично освободили представителей этого истеблишмента от ответственности за сотрудничество с милитаристским режимом. Достаточно снисходительными к Японии были и условия Сан-Францисского мирного договора, по которым Япония практически полностью освобождалась от репараций.

Установлению самоощущения виictimности способствовало и то обстоятельство, что в большинстве стран, являвшихся противниками Японии и пострадавших от японской агрессии, в первые послевоенные десятилетия преобладала точка зрения о нецелесообразности привлечения излишнего внимания к преступлениям японского милитаризма.

Так, в коммунистическом Китае в 1950-е – 1960-е годы критика Японии и даже напоминание о понесенных китайским народом страданиях считались «нетактичными». Свою роль играло нежелание лишний раз раздражать Токио: цель КПК заключалась в том, чтобы вырваться из дипломатической изоляции и получить дипломатическое признание западных стран, и в том числе Японии. Кроме того, в официальной китайской историографии японская военщина была отнюдь не самым

опасным врагом – гораздо более страшным противником считался чанкайшистский режим. Наконец, в рамках коммунистической идеологии превалировало представление о необходимости разделения ответственности народа и власти: японский народ, согласно этому взгляду, сам был жертвой относительно немногочисленной клики милитаристов, а обвинять в преступлениях весь народ было нельзя. Мао Цзэдун и Чжоу Эньлай заявили, что за агрессию Японии должен нести ответственность ограниченный круг милитаристов, а вовсе не японский народ². Именно по этой причине крупных расследований преступлений японцев в 1950-е – 1960-е годы в КНР практически не проводилось. Не поднимал в переговорах с японцами Пекин и проблему репараций, даже в период, когда накануне восстановления двусторонних отношений у Китая было гораздо больше оснований ставить этот вопрос.

Вплоть до начала 1970-х годов не имели широкого общественного резонанса многие из вопросов исторического прошлого, стоящих сейчас на политической повестке дня в японо-южнокорейских отношениях, и со стороны Сеула. Когда в 1965 г. решался вопрос о восстановлении дипломатических отношений, южнокорейская сторона с готовностью согласилась на заключение секретной сделки об оказании «финансовой помощи» объемом около 500 млн долл., которые позиционировались именно как помощь, а не репарации. Во многом это было сделано по настоянию японской стороны, не желавшей заострять внимание на своей военной ответственности.

Достаточно либеральным было отношение к «историческим грехам» Японии и в Соединенных Штатах. Отчасти это было связано с тем, что фокус внимания официальной американской историографии был сосредоточен на Тихоокеанской войне (Pacific War), т.е. на операциях с участием армии США в бассейне Тихого океана, тогда как боевые действия Японии в Китае и других странах Восточной и Юго-Восточной Азии, по сути, оказывались на периферии исследовательского интереса. Основную вину на Японию американцы возлагали за ее нападение на Пёрл-Харбор, которое в их глазах перевешивало любые действия японских военных на материке. Некоторое освещение в американских обвинениях получила тема плохого отношения к военнопленным из армии США и их союзников, а также тема изнасилований голландок и филиппинок и их насильственной сексуальной эксплуатации в японских военных борделях.

Кроме того, свою роль в относительно слабом внимании к проблеме преступлений японской императорской армии на материке играло то обстоятельство, что оккупационная администрация США на определенном этапе стала поддерживать идею «патриотизма» в японском обществе,

² Onuma Yasuaki. Japanese War Guilt and Postwar Responsibilities of Japan // Berkeley Journal of International Law. 2002. No. 20. P. 601.

рассчитывая использовать его в качестве рычага для консолидации японской нации в целях борьбы с коммунизмом (особенно сильно это стало заметно с началом Корейской войны). В период оккупации сами оккупационные власти США поддерживали тезис о нации-жертве с целью ослабить враждебность со стороны населения и повысить степень управляемости страной. Внедрение в широкое общественное сознание идеи о том, что японский народ сам стал жертвой милитаристского режима, позволяло провести четкую разграничительную линию между милитаристской кликой и пострадавшим от ее действий населением (в этом американский подход принципиально не отличался от подхода КНР). Разнесение по разные стороны баррикад нации и государства логически подводило к заключению о том, что японский народ не может нести ответственность за преступные решения своих лидеров. В свою очередь, это способствовало укреплению легитимности оккупационного правления и создавало дополнительный барьер против возрождения милитаризма.

Что касается Советского Союза, то, по понятным причинам, гораздо больше внимания послевоенная советская историография уделяла вопросам, связанным с Великой Отечественной войной. Вступление СССР в войну с Японией, помимо того, что это было уже эпизодом не Великой Отечественной, а Второй мировой войны, в большей степени подавалось не как возмездие за совершенные японской военщиной преступления, а как выполнение обязательств СССР перед союзниками. К тому же, в отличие от Китая и государств Корейского полуострова, СССР после подписания Совместной декларации 1956 г. считал все вопросы в двусторонних отношениях с Японией, связанные со Второй мировой войной, урегулированными, что не давало оснований заострять внимание на «нерешенности» проблем недавнего прошлого. Кроме того, сказывалась ситуация геополитического соперничества с Вашингтоном: действуя в русле логики холодной войны, Москва продолжала питать надежду на то, чтобы оттянуть Японию от союза с США или хотя бы нейтрализовать ее. Поскольку политические отношения между двумя странами продолжали оставаться натянутыми – во многом из-за нерешенной проблемы мирного договора, создавать дополнительные препоны на пути размораживания этих отношений Москва не хотела. Свою роль играл и разгоравшийся в 1960-е годы советско-китайский конфликт – чрезмерные пропагандистские нападки на Японию за действия императорской армии в Китае выглядели бы как косвенная поддержка китайского взгляда на историю. В этих условиях официальная советская историография воздерживалась от чересчур энергичной критики Японии за преступления военного времени, сосредоточив усилия на борьбе с призраком возрождающегося японского милитаризма.

Комплекс victimности проявлялся и в отношении Японии с Советским Союзом, а именно – в подходе официального Токио к проблеме

«северных территорий». Япония продолжала придерживаться позиции, что ялтинские соглашения, определившие судьбу Курил, были заключены за ее спиной, а потому именно она является пострадавшей стороной в территориальном конфликте с Москвой. Через призму виктимности воспринималось большинством японских историков и вступление СССР в войну против Японии в августе 1945 г. В этом факте многие японцы видели лишь свидетельство вероломства и величайшей несправедливости (вспоминается нарушение Москвой Пакта о нейтралитете), а вовсе не историческое событие, позволившее существенно ускорить конец Второй мировой войны (разительным контрастом было в этом плане отношение многих японцев к атомным бомбардировкам Японии американцами, которые воспринимались именно как подобное событие.)³.

А как обстояло дело в СССР/России? Память о военном прошлом представляла важнейший метод консолидации общества вокруг действующей власти. Победа над Германией явила собой важнейший фактор подъема национального духа. Люди возвращались с фронта с убеждением, что они заслужили другую, гораздо лучшую жизнь. Жители деревни были убеждены, что колхозы будут быстро расформированы. Особенно сильным «культурным шоком» явилось для многих знакомство с европейским образом жизни – когда миллионы солдат и офицеров увидели реальность европейской жизни, разительно отличающейся от того, что имелось у них дома.

Но эйфория быстро сменилась отрезвлением. Сталин не мог позволить народу ощущать достоинство победителя. Ему необходимо было обеспечить режим полного и абсолютного послушания. Сразу после войны Сталин выступил с призывом подвергнуть победителей критике, с тем чтобы они «не зазнавались».

В 1947 г. Сталин отменяет праздник Победы. Празднование Дня Победы было возобновлено только уже при Брежневе в 1965 г., на 20-летие Победы, тогда же он был объявлен нерабочим днем. В 1947 г. были отменены все ежемесячные выплаты тем, кто был награжден орденами и медалями. Хотя суммы были небольшими, фронтовики придавали этим деньгам большое значение, т.к. они повышали их статус по сравнению с тыловиками. В 1947 г. был закрыт музей обороны Ленинграда и запретили создавать всесоюзную ассоциацию ветеранов. С 1949 г. стали задерживаться и отправляться в ссылку инвалиды войны, в основном калеки, лишившиеся рук и ног (общее число таковых составило около 500 тыс). Их ловили по вокзалам и дворам, бросали в товарные вагоны и отправляли на Север, чтобы они не портили своим видом благообразный облик советских городов. Льготы ветеранам войны начали предоставлять только в 1970-е годы.

³ Onuma Yasuaki. Japanese War Guilt... P. 604.

Одновременно разворачивались репрессии против «антисоветских элементов» с целью не допустить стихийных выступлений против власти. В каждый из годов, с 1954 по 1956 (уже после смерти Сталина), по пресловутой 58-й статье было осуждено в полтора раза больше, чем в 1937 г. Боязнь перед народными выступлениями заставляли власти постсталинского СССР прибегать к жестким методам подавления даже там, где можно было вести диалог. Крайне жестоко обошлись с митингующими в Краснодаре, Новочеркасске, Александрове и других городах.

Если со Сталиным все было более-менее понятно, возникает вопрос, почему же Хрущев не сделал упор на создание идентичности «народа-победителя», не развернул в полной мере пропагандистскую кампанию, прославляющую военное поколение? Как представляется, тому есть несколько причин. Во-первых, это десакрализация образа Сталина, который в годы войны был Верховным главнокомандующим и принимал все ключевые решения, при всей их неоднозначности приведшие к победе. Свержение Сталина с пьедестала в глазах Хрущева сделало необходимым «затемнить», замолчать тему победы в войне, во всяком случае, как основу, на которой можно было консолидировать общество. Во-вторых, Хрущев, по всей видимости, учитывал тот факт, что вознесение на пьедестал «поколения победителей», помнившего, что реальные успехи в войне начались только после отмены двоеначия в армии и ослабления тотального контроля со стороны политических органов, могло усилить дух свободомыслия и протеста и ставило под угрозу легитимность власти КПСС. Следует учитывать и личность Хрущева, который боялся заговоров и дворцовых переворотов именно со стороны военных (можно вспомнить антипартийный заговор 1957 г., когда особому шельмованию был подвергнут Г.К. Жуков), в связи с чем строить идентичность возглавляемого им режима на основе памяти о военном прошлом он не хотел. Можно вспомнить, что Хрущев занимал крупные, но не ключевые посты в армии (был членом военного совета фронтов), поэтому создавать свою персоналистскую власть на базе авторитета «победителя» он не мог. К тому же существовали и экономические причины: героизация военного поколения, пока еще многочисленного в хрущевское время, потребовала бы предоставления ему материальных привилегий, что легло бы дополнительным бременем на советскую экономику, которая и так была подорвана различными экспериментами «хрущевской оттепели».

Ситуация стала меняться в брежневское время. Режиму понадобились дополнительные идеологические подпорки в связи с тем, что на историческую арену выходило новое поколение, знающее войну только из книг, а потребность в ее идеологическом использовании для нужд действующей власти существенно выросла. Стало уходить военное поколение, что перевело в реалистическую плоскость вопрос о материальных компенсациях ветеранам, а у тех ветеранов, которые до-

жили до наших дней, в памяти остались лишь возвышенные моменты, связанные с личным военным опытом.

Свою роль играло и то обстоятельство, что в 1970-е годы, когда политика мирного сосуществования привела к разрядке и росту гуманитарных связей с Западом, потребность в тотальной демонизации бывших союзников в лице США, Великобритании и Франции отпала. Скорее, наоборот, международный авторитет СССР в глазах международной общности стал в гораздо большей степени опираться на образ победителя во Второй мировой войне, который наряду со странами коалиции стоял у истоков послевоенного мироустройства. Ситуация в этом смысле коренным образом изменилась по сравнению с первыми послевоенными годами, когда холодная война только-только набирала обороты, и ядерный конфликт с Западом не казался чем-то нереальным. Тогда америкоцентристский Запад не мог быть «союзником» даже в исторической памяти наций.

Как уже отмечалось выше, в 1965 г. в качестве национального праздника был восстановлен День Победы, установлены существенные льготы ветеранам. Военно-патриотическое воспитание стало частью идеологической обработки молодого поколения. При этом правда о причинах, ходе, результатах войны давалась препарировано, с прицелом на ведущую роль партийного руководства. В конце 1960-х – начале 1970-х годов началась «ползучая» реабилитация Сталина: его в положительном ключе стали показывать в фильмах о войне и военных хрониках.

Однако советская идентичность, основанная на победе в Великой Отечественной войне, парадоксальным образом включала в себя и элементы жертвенности, что позволяет провести аналогию с японским комплексом виктимности. Так, идеологема «великой победы» включала в себя акцент на колоссальный объем потерь, понесенных советским народом. Если при Сталине говорили о 8 млн погибших в годы Великой Отечественной войны, то при Л.И. Брежневе цифра выросла до 20 млн (сейчас официальные данные – 27 млн). Другой темой, которая давала почву виктимности – вопрос о запаздывании с открытием англо-американскими союзниками Второго фронта, приведшим к огромным дополнительным людским потерям советских войск. Кроме того, пропагандой активно использовалась информация (зачастую неverified) о попытках союзников договориться за спиной СССР с гитлеровской Германией. Этой теме, например, был посвящен самый популярный в СССР телесериал «Семнадцать мгновений весны», снятый в 1973 г.

Автор затрагивает данную тему не потому, что ставит под сомнение данные о жертвах советского народа – речь идет о том, что как японская, так и советская, послевоенная идентичности во многом основывались на ощущении себя жертвой, хотя историческая подоплека, сопровождавшая комплекс виктимности, бесспорно, была качественно иной: Япония как страна, сильно пострадавшая в ходе войны и понес-

шая «незаслуженное» наказание (виктимность «нации-изгоя») и СССР, который понес в годы войны наибольшие жертвы и выстоял, несмотря на недостаточную лояльность союзников (виктимность «нации-победителя»). Если посмотреть на послевоенное развитие с позиций виктимности, то Япония в качестве одной из своих ключевых внешнеполитических целей ставила именно преодоление этого статуса «изгоя», т.е. «вражеской» (согласно Уставу ООН) страны, которая благодаря своей активности и международной помощи заслужила право называться мировым лидером. Что касается СССР, то он, наоборот, в полной мере использовал свое бенефициарное положение как демиурга послевоенного мироустройства, чувствуя свое моральное право на решающее участие в определении судеб мира как страна, заплатившая за него наибольшим количеством жертв.

Виктимизированный менталитет являет собой любопытный феномен. Казалось бы, в случае с Японией виктимность должна была порождать реваншизм, о чем свидетельствует исторический опыт Веймарской республики. Однако в реальности комплекс виктимности играл диаметрально противоположную роль на разных этапах ее послевоенной истории. В первые послевоенные десятилетия виктимность скорее подпитывала пацифизм в общественном сознании, выступая политическим ресурсом для оппозиционно настроенных сил левой и центристской ориентации. Это не могла не учитывать и правящая партия, претендовавшая на роль общенациональной политической силы: даже при относительном преобладании в ЛДП мнения о необходимости пересмотра конституции вопрос о внесении в нее поправок не был поставлен в политическую повестку дня.

В то же время, начиная с конца 1970-х годов, когда набравшая экономическую мощь Япония стала все активнее позиционировать себя как держава регионального и даже глобального уровня, комплекс виктимности играл уже в пользу исторического ревизионизма, проявлениями которого стали призывы «подвести итоги» послевоенной политики, изменить конституцию, навязанную стране американцами, возродить полноценные вооруженные силы и стать «нормальным государством». Как отмечал профессор Кэйо Ё. Соэя, «сочетание исторического ревизионизма и “активной дипломатии”, ориентированной на западные ценности, является продуктом травмы сознания, нанесенной Японии в результате поражения в войне и последующего периода оккупации, которые, как считают многие, привели к феномену «недостаточной независимости» послевоенной Японии»⁴.

Что касается СССР, то ощущение виктимности с самого начала однозначно выступало фактором широкого общественного консенсуса в

⁴ Japan as a «Normal Country»: a Nation in Search of its Place in the World // Ed. By Yoshihide Soeya, Masayuki Tadokoro and David A. Welch. University of Toronto Press, 2012. P. 78.

пользу милитаризации, приоритета военного строительства над мирным экономическим развитием, готовности нести жертвы во имя безопасности в той форме, как ее понимали советские лидеры. Психологический комплекс «окруженной крепости», сформированный в довоенную эпоху и получивший существенную поддержку в период войны, благодаря эффекту виктимизации оказался действенным средством поддержания лояльности власти в широких слоях советского общества и в послевоенный период.

Система политической власти: синдром осьминога

К числу важных составляющих послевоенной идентичности следует отнести и сложившуюся в СССР модель политического устройства и политической культуры. В Японии к числу ее уникальных черт с полным на то основанием можно отнести феномен «полупартийной системы», или «систему 1955 года». В послевоенной мировой истории нет, вероятно, кроме Японии, ни одного примера демократического государства, чтобы монополия одной партии на власть при сохранении всех демократических институтов и наличии в парламенте реально действующей оппозиции продолжалась почти четыре десятилетия. Длительность господства ЛДП привела к складыванию особого «партийно-правительственной» системы принятия решений: государственная политика вырабатывалась параллельно в структурах правительства и органах политического планирования ЛДП (Советах по политическим и по общим вопросам), которые вместе составили целостный механизм.

С этой точки зрения японская модель имела некоторое сходство с системой однопартийного правления СССР. Хотя внешне демократическая послевоенная Япония с ее многопартийной политической системой выступала наряду с прочими западными демократиями антагонистом коммунистического СССР, в реальности в механизмах функционирования двух систем существовало много общего. Так, кадровое строительство в ЛДП и КПСС осуществлялось во многом на основании немеритократического принципа старшинства. Решения принимались хотя и коллегиально, но в непубличном формате и на основе консенсуса (в СССР во времена брежневского застоя апофеозом этой практики явилась система заочного принятия решений в Политбюро методом сбора подписей на проекте, рассылавшемся в виде «бегунка»). И там, и там существовали свои группировки, замыкавшиеся на своего лидера (в ЛДП – фракции, в ЦК КПСС – земляческие кланы, например, «днепропетровский», «ленинградский», ведомственные кланы и т. д.). При этом полипирамидальность структуры в обеих партиях власти сочеталась с наличием неписаных правил, призванных обеспечить баланс интересов различных сторон.

Хотя в СССР персоналистское начало было, безусловно, более сильным, нежели в ЛДП, где партийные лидеры сменялись в среднем раз в полтора года (тогда как Брежнев правил восемнадцать лет), авторитаризм советских лидеров никогда не заходил за определенную черту. С известной долей допущения можно утверждать, что и послевоенная система власти КПСС, достигшая своего расцвета в «эпоху застоя», и «система 1955 года» являли собой родственные варианты аморфно-дисперсной системы управления, напоминающей, по выражению российского японоведа С. В. Чугрова, осьминога. Его щупальца, казалось бы, действующие по собственному плану, но обеспечивающие вполне осмысленное движение по определенному вектору, олицетворяли собой различные стороны властной модели: фракции ЛДП, депутатские кланы, бюрократические группировки отдельных ключевых ведомств в Японии и отдельные ключевые отраслевые министерства, КГБ и МВД, партийные структуры различных уровней и профилей, которые вели между собой перманентную борьбу за влияние, в СССР.

Имеется множество иных аналогий в сфере политической власти: приоритетная роль бюрократии, условно плановая экономика (вспомним План удвоения национального дохода Х. Икэда и советские пятилетки), тотальная зарегулированность экономической и общественной сферы, формальность и ограниченность общественного контроля в отношении власти, номинальный характер судебной и законодательной властей и т. д. Хотя эти аналогии являются условными и более или менее относительными, с позиций Советского Союза, по характеру и формам проявления политической власти, пожалуй, ни одну из стран Запада нельзя назвать более родственной, чем Япония. Ее капиталистическую модель некоторые считали формой «государственного капитализма», в противоположность сложившейся в СССР модели «государственного социализма». При этом как в СССР, так и в Японии, в общественном сознании превалировало негативное восприятие публичной демократии западного типа, которая трактовалась главным образом в категориях хаоса и беспорядка. Сам политический процесс в обеих странах, с этой точки зрения, противоречил принципам западной нормативной теории.

Приоритеты социального развития: общество с усредненным стандартом потребления

Важной характеристикой послевоенной идентичности двух стран явилась ставка на приоритетное социальное развитие, успехи которого дали основания говорить о складывании в СССР и Японии сопоставимых (хотя и не тождественных) моделей социального государства.

В Японии важной характеристикой «системы 1955 года» явилась особая функция политической сферы как механизма перераспределения национального дохода, установившаяся в период высоких темпов экономического роста. Правящая партия, в противоположность своему

имиджу как «оплоту консерватизма», проводила в социально-экономической сфере эгалитарную, по сути, социалистическую политику, направленную на выравнивание различий в региональном развитии, формирование сильного среднего класса, создание высоких национальных стандартов качества жизни. Для этого использовались налоги, получавшиеся от сверхприбылей экспортных предприятий, процветание которых было во многом связано с благоприятной внешнеэкономической конъюнктурой, а до 1973 г. – и низкими ценами на энергоносители. Опорой этой системы являлся также общенациональный консенсус: основная часть налогоплательщиков, проживавших в крупных городах, не утратила свои корни в сельской местности (будучи переселенцами в первом или втором поколениях) и соглашалась на то, чтобы налоги через систему проектов инфраструктурного развития направлялись на «малую родину» – в депрессивные районы страны, подпитывая тем самым местную экономику.

В свою очередь, СССР традиционно позиционировал себя как общество социальной справедливости. Система морального воспитания в СССР с ее упором на ценности коллективизма, трудолюбия, честности, идейности, неприятие внешнего проявления личного богатства как метода социального самоутверждения, во многом коррелировала с японскими моральными ценностями, отрицавшими откровенное социальное неравенство.

С точки зрения факторов становления социально-экономической идентичности послевоенного периода целесообразно взять для примера период 1960-х годов, когда в СССР и в Японии отчетливо намечается отход от чрезмерной идеологизации общественной жизни в пользу частных интересов, лежащих, в первую очередь, в сфере личного потребления. В Японии 1960 г., когда была подписана новая версия Договора безопасности с США, стал своего рода вехой, означавшей проход страной точки невозврата. Если до конца 1950-х годов перед страной сохранялась альтернатива между капиталистическим и некапиталистическим путями развития, теперь же окончательный выбор был сделан в пользу западной модели капитализма и членства в военно-политической системе. В свою очередь, в СССР подобной «точкой невозврата» стал, безусловно, XX съезд КПСС, состоявшийся в 1956 г., когда окончательно был решен вопрос в пользу политики мирного сосуществования и мирной экономической конкуренции с капиталистической системой.

В Японии деидеологизация политической сферы проявилась в перестройке политической карты, появлении и укреплении влияния партий «третьего пути», позиционировавших себя как альтернативу и западной модели развития, ориентированной на американский путь, и социалистической модели, опирающейся на советский опыт. Общественные интересы отчетливо смещались в пользу частной жизни и личного благосостояния. Следует отметить, впрочем, что рост

потребления внутри страны не означал установления в обществе отношений социальной гармонии и не приводил к укреплению ощущения социальной справедливости.

Фактором роста национального самосознания японцев стало проведение в 1964 г. летней Олимпиады в Токио, международной выставки Экспо-70 в Осаке и других крупных международных мероприятий. Подготовка к ним сопровождалась бурным строительством объектов городской инфраструктуры, скоростных автомобильных дорог, сверхскоростных железнодорожных магистралей «Синкансэн», тоннелей, портовых сооружений, гостиниц, стадионов и т. д. Токийская олимпиада стала своего рода символом полноценного «вхождения» послевоенной Японии в мировое сообщество, ареной для демонстрации промышленных и технологических достижений японской экономики. Поводом для консолидации духа нации явилось празднование 100-летия революции Мэйдзи, прошедшее в 1968 г. Усилиями официальной пропаганды пройденный страной вековой путь был представлен как «история успеха», ставшая возможной благодаря духовному подъему японского народа.

В СССР же в постсталинский период цель подъема народного благосостояния была поставлена в качестве приоритета государственной политики. При Хрущеве началась обширная государственная программа переселения из коммунальных квартир в отдельные (массовое строительство «хрущевки»), а с началом брежневского правления в дополнение к жилищному строительству проводится определенная стандартизация уровня личного потребления, который не допускал ни излишней бедности, ни чрезмерного богатства. Низкие зарплаты компенсировались практически безвозмездными социальными благами, предоставляемыми государством (бесплатным образованием и здравоохранением, крайне дешевыми услугами в сфере жилищно-коммунального хозяйства, доступными ценами на культурно-массовые мероприятия и т. д.). К тому же гарантированное конституцией право на труд и отсутствие в стране безработицы, даже при крайне низкой эффективности общественного производства и катастрофическом отставании производительности труда от Запада, представлялись более важным социальным завоеванием, нежели право на личное обогащение.

Важно было то, что даже граждане из небогатых семей благодаря этой социальной политике не чувствовали себя существенно ущемленными по сравнению с представителями партийно-правительственной номенклатуры. Наличие у последней ряда материальных привилегий не приводило к значительному социальному расслоению, а уж тем более к кричащим социальным контрастам. К тому же властями периодически устраивались, нередко в пропагандистских целях, «публичные порки» чиновников, которые уличались в приписках, взятках, пристрастии к западному образу жизни. Комитет партийного контроля нередко при-

влекал за «нескромность» в удовлетворении личных потребностей даже высокопоставленных партийных бонз.

Жесткой регламентации подлежали размеры заработной платы, социальные нормы жилья, предоставляемого государством на семью, право купить предметы длительного пользования, включая автомобили, и даже размеры садового участка для ведения приусадебного хозяйства и площадь дома, который разрешалось построить на нем отдельной семье. Любителей одеваться по западной моде, покупать западные «шмотки» клеймили как «вещистов» и «стиляг». Особенно сильному осуждению и энергичному преследованию подвергались «барыги», спекулянты, валютчики, т.е. все те, кого в западном обществе называли бы удачливыми коммерсантами. Отражением морального климата в обществе явился культовый фильм 1960-х годов «Берегись автомобиля», главный герой которого пошел на конфликт с законом и попал в тюрьму, нарушив уголовный кодекс в борьбе против «неправедных» форм обогащения, распространенных в среде «умеющей жить» торгово-распределенческой мафии. Симпатии авторов фильма, как и зрительской аудитории, были явно на его стороне.

При анализе моделей социального развития в послевоенных Японии и Советском Союзе интересно сопоставить социальную роль предприятий и модели корпоративного управления в двух странах. Связано это с тем, что в обеих странах трудно переоценить роль предприятия как базовой ячейки в поддержании национальной идентичности. Японское предприятие (*кайся*) явилось объектом дистрибутивной государственной политики, направленной на минимизацию социальных издержек рыночной экономики. В Японии предприятия играли важнейшую роль амортизатора, ослабившую негативные последствия от десоциализации горизонтальных связей в период интенсивного индустриального роста. Эта роль проявилась, в частности, в 1950-е – 1960-е годы в обеспечении «мягкой посадки» поколения переселенцев из сельской местности, вынужденных приспособляться к более «жестким», безжалостным, с точки зрения деревенского жителя, условиям городской жизни. В Японии издержки этого перехода были в значительной степени смягчены, если не полностью устранены, существованием специфической системы менеджмента с ее хорошо известными атрибутами, к числу которых относятся пожизненный найм и оплата по старшинству, обеспечивающие двустороннюю направленность вертикальных связей (патронаж в обмен на беспрекословную преданность), а также внутрифирменные профсоюзы. В рамках этой системы компенсировались утраченные работником при миграции в город горизонтальные социальные связи.

Что касается СССР, социальная функция предприятия заключалась в идеологическом контроле над населением и поддержании социокультурной гомогенности советского общества, консолидированного на ос-

нове идейных ценностей – преданности партии, пролетарском интернационализме, социалистическом патриотизме. Именно через партийные и комсомольские ячейки на предприятиях проводилось массовая «промывка мозгов», в частности, путем проведения различных политучеб, политинформаций и политзачетов. В этом смысле роль советских предприятий была сопоставима с японской компанией: предприятие как «семья», «воспитатель», «товарищ», а не просто место работы и зарабатывания средств на пропитание. Как и в Японии, на предприятиях достаточно распространенной были и система пожизненного найма, и оплата по старшинству: все работники предприятий имели одинаковый статус государственных служащих, увольнения по собственному желанию были не столь уж часты, ветераны труда пользовались особым почетом, а оплата труда мало коррелировала с экономической эффективностью (впрочем, критерии эффективности в социалистической экономике были весьма условными). Аналогии прослеживаются и в самих формах производственной деятельности: большое распространение получили моральные стимулы, включая грамоты, благодарности и «доски почета», а также соревнование между отдельными подразделениями компании; японские «кружки качества» в чем-то походили на советские клубы рационализаторов и изобретателей, работавших на энтузиазме. В обеих странах факт принадлежности предприятию зачастую выступал более важным критерием социального статуса, чем занимаемая должность и даже получаемая зарплата: например, работать на заводе им. Лихачева было в СССР однозначно более престижно, чем на ткацкой фабрике.

В целом можно заключить, что общественный консенсус, сложившийся в обеих странах на базе социального развития, заключался в неприятии социальных контрастов и отторжении американской модели личного обогащения («американской мечты»), приоритете общественных интересов над личными, готовности к самопожертвованию ради общественного блага.

«Новый патриотизм»: экономическая мощь или имперская державность?

Одним из измерений послевоенной идентичности наций стало появление в обеих странах так называемого нового патриотизма, основанного не на военном героическом прошлом, а на реальных достижениях, олицетворявших глобальные успехи стран.

При этом в своем внешнем измерении корни «нового патриотизма» в Японии и СССР принципиально различались. В Японии национальной гордостью имела в биполярный период скорее экономическую основу: высокие темпы роста, выход страны на 2-е место в мире по объему ВВП в конце 1960-х годов, всемирная узнаваемость японских брендов («Тойота», «Сони», «Панасоник» и т. д.), финансовая мощь страны, по-

зволившая ей стать одним из главных доноров основных международных организаций, в первую очередь, ООН, а также безоговорочной страной-лидером по денежному объему программ ОПР.

Свою лепту в укрепление «экономического патриотизма» вносил и неподдельный интерес в мире к истокам японского экономического чуда, выразившийся в появлении большого количества академических работ, посвященных уникальному японскому менеджменту, уникальной японской бюрократии, уникальному японскому менталитету и т. д. Своего рода «елеем», лившимся на национальные чувства японцев, стала распространившаяся в 1980-е годы теория о том, что следующий век станет веком Японии («Пакс ниппоника»). Не претила, а, скорее, льстила японцам и алармистская теория о «Джапан инкорпорейтед» – Японии как стоглавом и бездушном чудовище, не имеющем общего центра управления, но методично и последовательно достигающем своих целей, наиболее убедительно изложенная в ставшей классической работе Э. Вогеля *Japan as Number One*, опубликованной в 1979 г.

Что касается СССР, то патриотизм нации базировался не на экономических, а на военных, научных и технических успехах. Таковыми для СССР явились первый в мире запуск искусственного спутника Земли в 1957 г. и первый пилотируемый космический полет в 1961 г., успехи ракетно-ядерной программы, позволившие преодолеть отставание от Америки, а также существенное усиление позиций на мировой арене, проявившееся, в частности, в победе коммунистической власти на Кубе, увеличении числа стран социалистической ориентации в «третьем мире». Кроме того, свою роль играл советско-американский диалог по ключевым вопросам мировой политики, символизировавший bipolarность глобального миропорядка и активную субъектность СССР в рамках этой модели.

Именно на осознании своей миссионерской роли, ощущении собственной державности был основан новый советский патриотизм. Высокоидейный советский человек в массовом сознании имел явное превосходство над западным обывателем, который представлялся как носитель низменной буржуазной упадочнической культуры. Особое значение официальная пропаганда придавала парадам военной техники на Красной площади, их показу по телевидению, которые способствовали укреплению в стране чувства национальной гордости и ощущению морального превосходства над «загнивающим» Западом. Другой стороной этой политики являлась необходимость в поддержании «железного занавеса», в жестких ограничениях на свободные поездки за границу, и, в первую очередь, в западные страны, которые по обоснованному опасению властей могли посеять сомнения в базовых идеологических постулатах.

Тем не менее, распространение правдивых сведений о реальной ситуации в социальной сфере передовых стран Запада наряду с ростом

популярности западной массовой культуры, бумом голливудской кинопродукции, интересом молодежи к западной поп-культуре размывали основы официальной теории о превосходстве социалистического образа жизни над капиталистическим, способствуя появлению сомнений в правильности избранного пути и даже в становлении настроений собственной ущербности. Именно сочетание «мании величия», основанной на миссионерстве и культе имперской державности, с одной стороны, и комплекса неполноценности, базирующегося на неспособности СССР «догнать и перегнать» Запад в области социального благосостояния – с другой, породили шизофренический разрыв в общественном сознании, выразившийся с течением времени в росте массового разочарования, цинизма, нигилизма, неверия в идеалы, уходе в частную жизнь. Не случайно использование пропагандой тезиса о «становлении новой исторической общности – советского народа», выдвинутого Хрущевым на XXII съезде КПСС, на уровне общественного сознания стал со временем вызывать скорее насмешки, превратившись в объект политических анекдотов – своего рода фольклора, выражающего истинные общественные настроения. Благодаря их безымянным авторам уже на позднем этапе существования СССР в оборот был введен термин «хомо советикус» – особый вид «человека советского», противопоставленный «хомо сапиенс» («человеку разумному»).

Кстати, здесь уместно упомянуть о японском самоощущении уникальным народом, кульминизированным в теории японизма (*нихондзинрон*). Японцы после войны стали выпячивать, в некоторых случаях обоснованно, а в некоторых – надуманно, свою «особость», проявляющуюся в специфике менталитета, стиля жизни, традиций, культуры, языка, пищевой диеты и иных аспектов национального колорита, которые представлялись уникальными, но отнюдь не имеющими превосходство над другими нациями. Отличие двух моделей саморефлексии заключалось в том, что японцы в массе воспринимали теорию *нихондзинрон* не просто со всей серьезностью, но и черпали в ней определенную живительную силу, помогавшую им сохранять ослабевающую под напором глобализации национальную идентичность. Тогда как в СССР насаждавшаяся сверху идея «особой исторической общности – советского народа» никак не способствовала самоидентификации и воспринималась на уровне массового сознания, в лучшем случае, в качестве объекта самоиронии, о чем свидетельствует появление упомянутого термина «хомо советикус».